



классика  
в школе



Александр Сергеевич  
**Пушкин**

Евгений  
Онегин

Москва



2015

УДК 82-93  
ББК 84(2Рос-Рус)  
П 91

Оформление серии *О. Горбовской*

**Пушкин А. С.**  
П 91 Евгений Онегин / Александр Пушкин. — М. :  
Эксмо, 2015. — 240 с. — (Классика в школе).

ISBN 978-5-699-64308-0

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной, средней школе и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.

В книгу включен роман в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, который изучают в старших классах.

УДК 82-93  
ББК 84(2Рос-Рус)

ISBN 978-5-699-64308-0

© Оформление. ООО «Издательство  
«Эксмо», 2015

В.О. Ключевский

## ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН И ЕГО ПРЕДКИ

День памяти Пушкина — день воспоминаний. Я начну с воспоминаний о себе самом.

Я родился немного лет спустя по смерти Пушкина. Но, пока я и мои сверстники, получившие одинаковое со мною воспитание, пока мы были юны, Пушкин не переставал быть нашим современником. Мы не спрашивали, жив ли Пушкин. Мы знали, что он живет и будет жить, и это было для нас так же ясно и просто, как то, что небо синее и будет синеть. Когда нам говорили, что он умер, что его давно уж нет, в этих словах нам чуялось что-то нескладное, похожее на неудачную риторическую фигуру.

В те годы мы читали и перечитывали *Евгения Онегина*. Теперь, после стольких лет и стольких житейских впечатлений, свеявших ощущение молодости, трудно припомнить и еще труднее рассказать, чем был для нас этот роман лет 30 назад. Одно можно сказать с уверенностью, что мы отнеслись к нему, как не относились современники Пушкина и как едва ли относится к нему молодое поколение, несколько лет назад теснившееся при открытии московского памятника Пушкину. При жизни Пушкина *Евгений Онегин* был предметом критики или удивления как крупная литературная новость. Теперь он просто предмет изучения как историко-литературный памятник. Для нас он не был ни тем, ни другим: мы не разбирали его, как разбирали тогда новые повести Тургенева, но мы и не коммен-

тировали его, как *Слово о полку Игореве* или *Недоросля*. Он не был для нас только роман в стихах, случайное и мимолетное литературное впечатление; это было событие нашей молодости, наша биографическая черта, перелом развития, как выход из школы или первая любовь. При первом чтении мы беззащитно отдавались обаянию стиха, описаний природы, задушевности лирических отступлений, любовались подробностями, составлявшими декорации драмы, разыгранной в романе, не обращая особенного внимания на самую драму. Потом, перечитывая роман, мы стали вдумываться и в эту драму, в ее несложную фабулу и трагическую развязку, задавать себе вопросы и из ответов на них извлекать житейские правила. Мы горько упрекали *Онегина*, зачем он убил Ленского, хотя не вполне понимали, из-за чего Ленский вызвал Онегина. Каждый из нас давал себе слово не отвергать так холодно любви девушки, которая его так полюбит, как Татьяна любила Онегина, и особенно если напишет ему такое же хорошее письмо. Читая *Онегина*, мы впервые учились наблюдать и понимать житейские явления, формулировать свои неясные чувства, разбираться в беспорядочных порывах и стремлениях. Это был для нас первый житейский учебник, который мы робкою рукой начинали листовать, доучивая свои школьные учебники; он послужил нам «дрожащим гибельным мостком»<sup>1</sup>, по которому мы переходили через кипучий темный поток, отделявший наши школьные уроки от первых житейских опытов. Может быть, такое отношение к роману было педагогическим недосмотром наших воспитателей или нашим эстетическим пороком; может быть, это было только преждевременным и излишним напряжением эстетического чувства, предохранившим нас от

---

<sup>1</sup> «Евгений Онегин», глава пятая, XI.

многих действительных пороков. Я этого не знаю; я только отмечаю факт, не ценя его, не произнося приговора над своею молодостью. Судите вы и, если угодно, осуждайте за это нас или наших воспитателей. А факт тот, что после 1837 г. воспиталось поколение, которое уже не застало Пушкина в живых и на нравственную физиономию которого его роман более, чем другие его произведения, положил особую, немножко сантиментальную складку. Было ли это нашим несчастьем или даром, незаслуженно нам доставшимся, на этот вопрос можно отвечать и так и этак, но в том и другом случае будет виновата случайность нашего рождения. Людям, родившимся годами 10—15 раньше нас, приходилось читать этот роман среди не умолкнувших еще споров о Пушкине. Молодежь, которая принималась за *Онегина* немного позднее нас, читала его под действием иных, нелитературных веяний, которые были принесены новым течением, обнаружившимся в нашем обществе с половины 1850-х годов. Мы попали, так сказать, в литературное затишье, начали читать *Онегина*, когда о Пушкине вспоминали, но уже не спорили, а новые влияния еще не успели донестись до школьных скамеек, на которых мы сидели.

Все это я счел не лишним припомнить и некоторым из присутствующих напомнить по поводу годовщины смерти Пушкина. Ведь мы собрались, чтоб оглянуться на полстолетие, протекшее с того времени, и вспомнить, чем был для нас поэт в это полстолетие. Жизнь поэта — только первая часть его биографии; другую и более важную часть составляет посмертная история его поэзии. Некто из людей, начавших сознавать себя раньше, чем многие и многие из вас начали дышать, и решился занести свою строчку в эту посмертную часть, отважился выступить из редущего уже ряда своих сверстников, чтобы сказать, чем был для него и для них Пушкин со своим романом.

Помню еще, что из действующих лиц романа всего менее задумывались мы в первое время над его героем. Мы не задавали себе вопроса, кто он, хороший или дурной человек, дельный или пустой малый. Он оставался для нас на каком-то туманном возвышении, с которого мы не сводили его в ряды простых людей, чтобы разглядеть, благовоспитанный ли он человек, удобный ли товарищ. Мы едва ли любили его, а наши сверстницы, наверное, не влюблялись в него, как влюбилась Татьяна. Но и мы и они любовались им; он оставался для нас поэтическим образом, в котором нам нравились самые недостатки, как становятся милы отдельные некрасивые черты на милом лице. Еще менее приходило нам в голову доискиваться, откуда и как попал он в русское общество. Этот «чужак печальный и опасный» проходил в нашем воображении приятным и таинственным незнакомцем, которого мы не догадывались спросить об адресе. Мы не настолько знали тогдашнее общество, чтоб угадать, на кого он похож. Притом мы так мало задумывались над отношением поэтического творчества к действительности, что нам нелегко было растолковать самый смысл вопроса, что это такое: поэтическая ли греза, переложенная в великолепные стихи, или портрет, срисованный с живого человека. Мы видели, что это несовременная нам быль: вокруг себя мы не замечали и не предполагали ничего подобного. Но мы чувствовали, что это и не сказка, что герои этого романа существовали на Руси где-то и когда-то и даже в очень близкое к нам время.

Не успели миновать наши школьные годы, мы только что затвердили *Онегина*, как на нас легли два новые литературные впечатления, и такие глубокие, каких не оставляли в нас дальнейшие произведения русской литературы. Эти впечатления впервые и направили наши мысли на вопрос, что такое *Онегин*. Мы прочитали *Дворянское гнездо* и *Обломова*. Вы, может быть, с удивлением спросите:

что общего между этими пьесами, кроме таланта? Я не помню, что говорила тогда литературная критика об этих произведениях, и не могу угадать, что думали и думают, читая их, молодые люди, здесь присутствующие. Но нам они показались двумя частями одной книги об умирающих. Обе пьесы — похоронные песни: в одной отпевался известный житейский порядок, в другой — общественный тип. С Лизой Калитиной, уходившей в монастырь, отрекались от мира чувства и отношения известной дворянской среды, жертвой которых была отшельница, а в лице Обломова, кашляя и кряхтя, лез умирать на печку последний наиболее беспомощный питомец и представитель этих же чувств и отношений. В обоих произведениях, совсем не как в *Евгении Онегине*, наше внимание приковали к себе гораздо более главные лица, чем их драматические положения. Мы спрашивали себя, почему эти лица, способные внести много добра в общество, не ужились в нем; нам было прискорбно чувствовать, что это лица исчезающие, что мы уже не встретим их двойников. Мы вспоминали своего старого незнакомца *Онегина*, и нам почему-то казалось, что и он, лицо менее приятное и менее обещавшее, принадлежит к тому же порядку явлений. Это сходство возбуждало в нас недоумение. После уже, слушая, читая и изучая, мы узнали, что наш век — время ускоренной смены разнохарактерных, совсем не похожих друг на друга типов. Тогда, сопоставляя названные произведения с *Евгением Онегиным*, мы начали внимательнее разбирать его. Это не была критика романа. У нас по-прежнему не поднималась на него критическая рука; он не ветшал для нас, не отставал от нас, а шел вровень с нами, или, лучше сказать, время бесследно шло мимо него, как оно идет мимо нестареющих античных статуй. Мы разбирали не роман, а только его героя и с удивлением заметили, что это вовсе не герой своего времени и сам поэт не думал изобразить его таким. Он был

чужой для общества, в котором ему пришлось вращаться, и все у него выходило как-то нескладно, не вовремя и некстати. «Забав и роскоши дитя» и сын промотавшегося отца, 18-летний философ с охлажденным умом и угасшим сердцем, он начал жить, т.е. жечь жизнь, когда следовало учиться; приниматься учиться, когда другие начинали действовать; устал, прежде чем принялся за работу; суетливо бездельничал в столице, лениво бездельничал и в деревне; из чванства не умел влюбиться, когда это было нужно, из чванства же поспешил влюбиться, когда это стало преступно; мимоходом, без цели и даже без злости убил своего приятеля; без цели поехал по России; от делать нечего вернулся в столицу донашивать истощенные разнообразным бездельем силы. И здесь, наконец, сам поэт, не кончив повести, бросил его на одной из его житейских глупостей, недоумевая, как поступить дальше с таким бестолковым существованием. Добрые люди в деревенской глуши смиренно сидели по местам, досиживая или только еще насиживая свои гнезда; налетел праздный пришелец из столицы, возмутил их покой, сбил их с гнезд и потом с отвращением и досадой на самого себя отвернулся от того, что наделал. Словом, из всех действующих лиц романа самое лишнее — это его герой. Тогда мы начали задумываться над вопросом, который поставил поэт не то от себя, не то от лица Татьяны:

Что ж он, ужели подражанье,  
Ничтожный призрак иль еще  
Москвич в Гарольдовом плаще,  
Чужих причуд истолкованье,  
Слов модных полный лексикон...<sup>1</sup>

Мы начали изучать его. Метод изучения был нам подсказан самой Татьяной. Мы старались пробрать

---

<sup>1</sup> Там же, глава седьмая, XXIV.

ся украдкой в кабинеты людей того времени, разобрать книги, которые они читали и которые читали их отцы, с оставленными на полях отметками крестами и вопросительными крючками. Изучая так *Онегина*, мы все более убеждались, что это — очень любопытное явление, и прежде всего явление вымирающее. Припомните, что он «наследник всех своих родных», а такой наследник обыкновенно последний в роде. У него есть и черты подражания в манерах, и Гарольдов плащ на плечах, и полный лексикон модных слов на языке, но все это не существенные черты, а накладные прикрасы, белила и румяна, которыми прикрывались и замазывались значки беспотомственной смерти. Далее мы увидели, что это не столько тип, сколько гримаса, не столько характер, сколько поза, и притом чрезвычайно неловкая и фальшивая, созданная целым рядом предшествовавших поз, все таких же неловких и фальшивых. Да, Онегин не был печальною случайностью, нечаянною ошибкой: у него была своя генеалогия, свои предки, которые наследственно из рода в род передавали приобретаемые ими умственные и нравственные вывихи и искривления. Если вы не боитесь скуки, если печальная годовщина, нас собравшая, располагает вас к терпеливым воспоминаниям о нашем прошлом, вы позволите неумелою рукой перелистовать перед вами эту родословную Онегина.

Всего усерднее прошу вас об одном: преемственно сменявшиеся положения, которые я отмечу, не принимайте за моменты нашей жизни, соответствующие известным поколениям. Нет, я разумею более исключительные явления. Это были неестественные позы, нервные, судорожные жесты, вызывавшиеся местными неловкостями общих положений. Эти неловкости чувствовались далеко не всеми, но жесты и мины тех, кто их чувствовал, были всем заметны, бросались всем в глаза, запоминались надолго, становились предметом художественного

воспроизведения. Люди, которые испытывали эти неловкости, не были какие-либо особые люди, были как и все, но их физиономии и манеры не были похожи на общепринятые. Это были не герои времени, а только сильно подчеркнутые отдельные номера, стоявшие в ряду других, общие места, напечатанные курсивом. Так как масса современников, усевшихся более или менее удобно, редко догадывалась о причине этих ненормальностей и считала их капризами отдельных лиц, не хотевших сидеть, как сидели все, то эти несчастные жертвы неудобных позиций слыли за чудаков, даже иногда «печальных и опасных». Между тем жизнь текла своим чередом; среда, из которой выделялись эти чудаки, сидела прямо и спокойно, как ее усаживала история. Поэтому я не введу вас в недоумение, когда буду говорить об отце, дяде и прадеде Онегина. Онегин — образ, в котором художественно воспроизведена местная неловкость одного из положений русского общества. Это не общий или господствующий тип времени, а типическое исключение. Разумеется, у такого образа могут быть только историко-генетические, а не генеалогические предки.

Явления, которые я отмечу, были все однородного сословного происхождения: предки Онегина все принадлежали к старинному русскому дворянству. Неловкости общих положений, заставлявшие некоторых людей принимать ненормальные позы и необычную жестикуляцию, обыкновенно происходили от недосмотров и увлечений, какие допускались при постановке нового образования, водворявшегося у нас приблизительно с половины XVII в. Это новое образование шло к нам с Запада, как прежде из Византии. Первым восприимчиком и проводником этого нового образования стало дворянство, как носителем и проводником старого было духовенство. Поспешность и нетерпеливость, с какими вводилось это образование, и были причинами некоторых неловкостей в преемственно сме-

нявшихся общих положениях сословия. Но, повторяю, это были местные неловкости, и ненормальные явления, ими вызванные, не могут войти в общую историю этого почтенного и много послужившего отечеству сословия.

Прадеда нашего героя надобно искать во второй половине XVII в., около конца Алексеева царствования<sup>1</sup>, в том промежуточном слое дворянских фамилий, который вечно колебался между столичною знатью и провинциальным рядовым дворянством. Отец этого прадеда, какой-нибудь Нелюб Злобин, сын такой-то, был еще нетронутый служака вполне старого покроя: он из года в год ходил в походы по-сторожить какую-нибудь границу отечества с пятком вооруженных холопов, по временам получал неважные воеводства, чтоб умеренным кормом пополнить оскудевшие от походов животы, а на частных деловых его бумагах вместо его подписи ставилась пометка, что отец его духовный, поп Иван, в его, Нелюбово, место руку приложил, затем что он, Нелюб, грамоте не умеет. Его сына ждала менее торная дорога. За бойкость его с 15 лет зачислили в солдатский полк нового, иноземного строя под команду немецких офицеров, за понятливость взяли в подьячие, за любознательность отдали в Спасский монастырь, на Никольской, в Москве, к ученому киевскому старцу «учиться по латиням». С кислую гримасой принимался он за «граматичное ученье» и то твердил по ходячим в то время словарькам исковерканные и вавилонски перемешанные греческие и польско-латинские вокабулы, написанные русскими литератами: *ликос* — волк, *луппа* — волчица, *спириды* — лапти, *офира* — молебен, *преписит* — болярин, *нектар* — пиво; то в ужасе от мысли, что все это ляхо-латинская ересь, неистово рвал

---

<sup>1</sup> Алексей Михайлович (1629—1676), взшел на престол в 1645 г.

свою грамматику и бежал к туземным благочестивым старцам каяться в соблазне, но, успокоенный батогамы, снова принимался твердить: *онагр* — дикий осел, *претор* — губная изба, *фулицгур* — молния, *скандализи ме* — соблажняют мя. Киевский старец заставлял молодого подьячего читать переводные космографии, внушал ему католические мнения о пресуществлении Св. даров и об исхождении Св. Духа, обучал его польской речи и искусству слагать хитрые вирши. Набожный выученик, успешно пробегая служебный путь, старался сделать благочестивое употребление из усвоенного иноземного искусства и на досуге перелагал в неуклюжие вирши акафист Пресвятой Богородице или церковные песнопения о страстях Христовых. Но время шло, разгоралась петровская реформа, и чиновного латиниста с его виршами и всею грамматичною мудростью назначили комиссаром для приема и отправки в армию солдатских сапог. Тут-то, разглядывая сапожные швы и подошвы и помня государеву дубинку, он впервые почувствовал себя неловко со своим грузом киевской учености и со вздохом спрашивал: зачем этот киевский нехай, учивший меня строчить вирши, не показал мне, как шьют кожаные солдатские спириды?

Дети этого меланхолического комиссара уже попадали под действие закона 1714 г. об обязательном обучении дворянства, учились в цифирной школе местного архиерейского дома, женились, отцами семейств являлись на царские смотры дворянских недорослей и по разбору компаниями, покидая жен, отправлялись за море для науки под наблюдением комиссара с инструкцией, в которой за нерадение «рукою самого монарха писан престрашный гнев и безо всякия пощады превеликое бедство». Эти компании рассеивались по всем важным приморским городам Западной Европы: Амстердаму, Венеции, Марселю, Кадиксу и пр. В «заграничных академиях» их обучали математике, «экипажеству» и ме-

ханике, наукам «философским и дохтурским», но особенно «мореходским и сухопутским», навигации, инженерству, артиллерии, «черчению мачтапов», боцманству, артикулу солдатскому, танцевать, на шпагах биться, на лошадях ездить. За границей русские навигаторы бегали с учебной службы, спасаясь в монастыри на Афонской горе, должны были посещали австерию и «редуты», т.е. игорные дома, дрались там и убивали один другого, а к родным в Россию слали письма, жалуясь на нищету и разлуку, на то, что наука определена им самая премудрая и хотя бы пришлось им все дни живота своего на тех науках себя трудить, а все-таки им не выучиться; что они на разные науки ходят: да без дела сидят, потому что языков иноземных не разумеют и «незнамо учиться языка, незнамо — науки». Навигаторы молили родных походатайствовать за них у кабинет-секретаря Макарова<sup>1</sup> или у самого генерал-адмирала Апраксина<sup>2</sup> взять их к Москве и определить хотя бы последними рядовыми солдатами или хотя бы в тех же европейских краях быть, но обучаться какой-нибудь науке сухопутной, только бы не мореходству. В числе этих навигаторов оказался, и даже не один, прямой наследник неудачи нашего сапожного комиссара, его собственный сын или чужой — это все равно. Поступив солдатом в гвардейский Преображенский полк, он учился в военной академии в Петербурге и во время второй беременности жены, в конце царствования преобра-

---

<sup>1</sup> Макаров Алексей Васильевич (1674 или 1675—1750) — государственный деятель, с 1710 г. кабинет-секретарь Петра Великого, позднее президент Камер-коллегии.

<sup>2</sup> Апраксин Федор Матвеевич, граф (1661—1728) — государственный деятель, генерал-адмирал (1708), президент Адмиралтейств-коллегии (1717), член Верховного тайного совета (1726).